

ДРЕВНЯЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ИССЛЕДОВАНИЯХ



ХРЕСТОМАТИЯ

Допущено Министерством высшего и среднего специального образования БССР в качестве учебного пособия для студентов филологических факультетов высших учебных заведений

МИНСК
ИЗДАТЕЛЬСТВО БГУ им. В. И. ЛЕНИНА
1979

Д. С. Лихачев

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВРЕМЕНИ

Как это ни странно, «Слово о полку Игореве» меньше всего изучалось как явление культуры своего времени — в связи с тогдашними эстетическими представлениями, с представлениями средневековья о мире и обществе, этических понятиями и пр. Обычно оно изучалось обособленно — так, будто наши представления о красоте, о добре и зле, о пространстве и времени, об истории и прочем не меняются и не менялись.

Ни один памятник в исследованиях ученых не находится в такой изоляции от своего времени, как «Слово о полку Игореве». Исключение составляют лишь работы языковедов. Последние изучали язык «Слова» как язык XII века, сопоставляли его с языком других памятников той же эпохи. Не случайно поэтому именно эти работы больше всего убеждают в том, что перед нами памятник домонгольского периода.

В дальнейшем я остановлюсь главным образом на эстетических представлениях XI—XIII веков и на том, как эти эстетические представления соотносятся с эстетической системой «Слова о полку Игореве».

XI—XIII века в истории культуры Древней Руси принадлежат так называемому *стилю монументального историзма*. По существу, здесь можно говорить не просто о стиле, а о целой «эстетической формации» (понятие, введенное в науку югославским ученым Александром Флакером). Этот стиль захватывает собой не только все искусства, но в какой-то мере подчиняет себе и естественнонаучные представления, поскольку наука и искусство не были еще четко разделены, а также все бытовые представления о прекрасном. Эта эстетическая формация была характерной не только для Руси этого времени, но распространялась и на ряд других стран: южнославянские и Византию в первую очередь, откуда она и явилась на Русь вместе с письменностью и христианским культом.

Стиль монументального историзма характеризуется прежде всего стремлением рассматривать предмет изображения с больших дистанций: пространственных, временных, иерархических. Это стиль, в пределах которого все наиболее значимое и красивое представляется большим, монументальным, величественным. Стремясь видеть окружающее в рамках представлений этого стиля, летописцы, авторы житий, церковных слов смотрят на мир как бы с большой высоты или с большого удаления.

В этот период развито «панорамное зрение», стремление подчеркивать огромность расстояний, сопрягать в изложении различные удаленные друг от друга географические пункты.

Эстетически ценно и значительно только то, что может быть представлено большим и мощным и что может быть воспринято с огромных расстояний. Вот почему в летописях действие перебрасывается из одного географического

пункта в другой, находящийся на другом конце Русской земли. Рассказ о событии в Новгороде сменяется рассказом о событии во Владимире или в Киеве, далее упоминается событие в Смоленске или Галиче и т. п.

Такая особенность летописного повествования создается не только потому, что в летописи обычно соединяются разные по своему географическому происхождению источники. Особенность эта соответствовала самому духу исторического повествования. Она захватывала читателя, увлекала ощущением пространства истории.

В том, что такого рода «панорамное зрение» при изображении исторических событий было эстетической реальностью, а не случайным следствием соединения различных летописных источников — киевских, новгородских, ростовских, владимирских и т. д., убеждает «Почтение» Владимира Мономаха. В своей автобиографии Мономах ведет повествование так же, как в летописи: соединяет в едином изложении различные географические пункты. Свою жизнь Мономах воспринимает в крайних географических пределах, до которых он доходил в походах, охотах и переездах. Он доходил до Чешского леса на западе, до Волги на востоке, углублялся в половецкую степь на юге, за Сулу, за Хорол, к Дону. Значительность своей жизни он подчеркивает дальностью своих походов, многочисленностью переездов. Он упоминает множество географических пунктов, где он бывал или до которых достигал в походах, и именно этим измеряет свой «труд», дело своей жизни. Оценивая княжение умершего князя, летописец пишет: «...а се княже седение: мир держа с околными сторонами, с Ляхы и с Немци, с Литвою, одержа землю свою величеством оны по Тотары, а се-мо по Ляхы, по Литву» (Ипат. лет., под 1289 г.).

Автор «Слова о погибели Русской земли» говорит о ее былом благополучии опять-таки с высоты огромных дистанций: «Отселе до угор, и до ляхов, до чахов, от чахов до ятвязи и от ятвязи до литвы, до немець, от немець до корелы, от корелы до Устьяюга, где тамо бяху тоимичи погании, и за Дышючим морем, от моря до болгар, от болгар до буртас, от буртас до чермис, от чермис до морьдви,— то все покорено было богом, християньскому языку поганьскыя страны...» В сущности, все «Слово о погибели» написано как бы с высот этого «панорамного зрения».

Приступая к проповеди, или к житию святого, или к историческому сочинению, авторы как бы испытывали необходимость окинуть взором всю землю. Так начинается Кирилл Туровский свое «Слово о расслабленном»: «Неизмерьна небесная высота, ни испытана преисподняя глубина». Так начинается и «Чтение» о Борисе и Глебе. Сама «Повесть временных лет» также открывается описанием самых общих судеб вселенной и дает превосходную по своей наглядности картину Русской земли. <...> Напомню, кстати, и знаменитое начало былины о Соловье Будимировиче, сохраняющее это же ощущение пространства:

Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота акиян-море,
Широко раздолье по всей земли,
Глубоки омоты днепровския ¹.

<...>

Сознание громадности мира было не только в искусстве, но и в обыденной жизни. Не случайно князья призывали в свидетели своей правоты всю «подънебесную» (Ипат. лет., под 1288 г.).

То же «панорамное зрение» в широкой степени сказывается и в «Слове о полку Игореве». Помимо того, что повествование в «Слове» непрерывно переходит из одного географического пункта в другой, автор «Слова» все время охватывает многие географические пункты своими призывами, обращениями и историческими воспоминаниями. «Золотое слово» Святослава Киевского обходит всю Русскую землю по окружности — ее самые крайние точки. Поражает и та «перекличка», которую ведут мифические существа и действующие лица в «Слове». Див кличет на вершине дерева, велит послушать земле неведомой, Волге, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и Тмутороканскому болвану на Черном море. Ярославна плачет на самой высокой точке Путивля — на крепостной стене, над заливными лугами Сейма, обращаясь к солнцу, ветру, Днепру. Девицы поют на Дунае, их голоса вьются через море до Киева.

Каждое действие воспринимается как бы с огромной высоты. Благодаря этому битва Игоря с половцами приобретает всесветные размеры: черные тучи, символизирующие врагов Руси, идут от самого моря, хотят прикрыть четыре солнца. Дождь идет стрелами с Дона вели-

кого. Ветры веют стрелами с моря. Битва как бы наполняет собою всю степь.

Многие отвлеченные понятия воспринимались в эпоху монументального историзма в пространственном, ландшафтно-географическом аспекте. Это прежде всего касается такого важного феодального понятия, как слава. Слава того или иного князя имела прежде всего пространственное распространение. Она измерялась географическими пределами. Она могла достигать границ Русской земли или переходить за них, захватывая окружающие народы. <...>

«Слово о полку Игореве» постоянно говорит о славе, и именно в этих широчайших географических размерах. От войска Романа и Мстислава дрогнула земля и многие страны — Хинова, Литва, Ятвяги, Деремела, и половцы копыя свои повергли и головы свои склонили под те мечи булатные. Князю Святославу Киевскому поют славу немцы и венецианцы, греки и моравы. <...>

Пространственные формы приобретают в «Слове» и такие понятия, как «тоска», «печаль», «грозы»: они «текут» по Русской земле, воспринимаются в крупных географических пределах почти как нечто материальное и ландшафтное. То же мы видим и в летописи, где печаль может охватывать города и княжества.

Летопись говорит, что после поражения на Калке «бысть плачь и туга в Руси и по всей земли, слышавшим сию беду» (Лавр. лет., под 1223 г.), «и бысть вопль и въздыхание, и печаль по всем градом и по волостем» (Сузд. лет. по Акад. сп., под тем же годом). При нашествии татар в 1239 г. «тогда же бе пополох зол по всей земли и сами не ведяху и где хто бежить» (Лавр. лет., под 1239 г.).

«Лютое томление бесурменьское», тоска, печаль всегда изображаются «в ширину», они распространяются «по всей земле» или перечисляются охваченные ими города и княжества. Они подчиняются пространственному восприятию. Ср. в «Слове»: «чърна земля... тугою взыдоша по Руской земли», «въстала обида въ силахъ Дажьбожа внука», «Жля поскочи по Руской земли», «а въстона бо, братие, Киевъ тугою, а Черниговъ напастьми», «тоска разлися по Руской земли, печаль жирна тече средь земли Рускыи», «уныша бо градомъ забралы, а веселие пониче». И т. д. Печаль, горе, хотя и растекаются по земле, тем не менее лишают людей простора. «Тоска», по

древнерусским представлениям, — «теснота»; трудный же жизненный путь — это «тесный путь».

Представления летописи, «Слова о полку Игореве» и других древнерусских произведений XI—XIII вв. о печали, тоске, туге или веселии как о неких пространственных явлениях, распространяющихся вне человека, в природе, сами по себе глубоко архаичны. Они ведут свое начало еще от того времени, когда личность человека слабо отделялась от окружающего мира. Печаль, горе, веселие представлялись человеку охватывающими не только его, но и окружающий мир. Они казались существующими, как бы разлитыми в природе.

В период перехода к личностному сознанию стало обычным или даже обязательным обращаться в плаче к окружающей природе — горам, рекам, удолиям — с просьбой принять участие в горе, плаче совместно с человеком. «Горы и холмы возвеселитесь со мной», «солнце, горы, холмы и красные деревья плодовые, плачите со мною». В «Повести о разорении Рязани Батыем» (вторая половина XIII — первая XIV в.) в плаче князя Ингваря Ингоревича говорится: «О земля, о земля, о дубравы, поплачите со мною!» Эти обращения — знак того, что печаль и веселие стали отделяться от человека, но еще не порвали с самой природой своей традиционной связи. <...>

Монументализм XI—XIII вв. имеет одну резко своеобразную особенность, отличающую его от наших представлений о монументальном.

Мы привыкли под монументальностью понимать не только все большое, но и инертное, тяжелое, неподвижное, устойчивое. Однако монументализм домонгольской Руси был связан с прямо противоположным: с быстротой передвижения в больших географических пространствах.

Монументализм домонгольской Руси, ее искусства, ее представлений о прекрасном — это прежде всего сила, а сила выражается не только в массе, но и в движении этой массы. Поэтому монументализм этот особый — динамичный. В широких географических пространствах герои произведений и их войско быстро передвигаются, совершают далекие переходы и сражаются вдали от родных мест. Даже оставаясь неподвижными, в церемониальных положениях, князья как бы управляют движением, происходящим вокруг них.

Летопись повествует о походах, битвах, переездах из

одного княжества в другое. Все события русской истории происходят как бы в движении. Мономах пишет в автобиографии о том, что он «нестижды», то есть более ста раз, ездил из Чернигова в Киев, и ставит себе в заслугу быстроту своих передвижений (он гнался за Олегом «о двою коню»)...

Тот же динамичный монументализм характерен и для зодчества этого времени. Это — зодчество для человека, находящегося в пути. Церкви ставятся как маяки на реках и дорогах, чтобы служить ориентирами в необъятных просторах его родины. <...>

Архитектурные сооружения — это попытки освоить огромные пространства, подчинить себе окружающий ландшафт.

Такое же значение придавалось пространству и в быту. Победа над врагом — это обретение пространства. Повествуя о победах половцев, летописец пишет: «а сим поганым и ругателем на семь свете приемшим веселье и просторонство» (Лавр. лет., под 1096 г.). Побеждая, враги распространяются по завоеванной земле: «Татарове же *россунушася* по земли» (Лавр. лет., под 1252 г.). Именно на это обращает внимание летопись.

Напротив того, поражение или пленение — это прежде всего потеря пространства. Пленение — это, кроме того, разлука: разлучаются односельчане, разлучаются братья, плененные разводятся в разные стороны. «Повесть временных лет» рассказывает под 1093 годом, как половцы разделили пленников между собой и как, ведомые в плен, они со слезами отвечали друг другу: «Аз бех сего города», а другие — «Яз сея вси» (то есть села). Под 1146 г. летопись рассказывает, как потерпевшие поражение «разлучишася друг от друга» (Ипат. лет.). Под 1262 г. говорится, что татары «дши (души.— Д. Л.) крестьянския раздно ведоша» (Лавр. лет.).

Так же точно разлучаются в летописи и в «Слове» Игорь и Всеволод: «ту ся брата разлучиста на брезѣ быстрой Каялы» («Слово»); в летописи они «разведени быша» и тоже разлучились. Характерно, что, каясь в плену, Игорь так говорит о последствиях своих междоусобных войн: «тогда бо не мало зло подъяша безвиннии хрестьяни, *отлучаеми* отець от рожений своих, брат от брата, друг от друга своего, и жены от подружий своих» (Ипат. лет., под 1185 г.).

Если для нового времени с его личностным сознанием

пленение — это прежде всего потеря личной свободы, то для раннеколлективистского сознания XI—XIII вв. пленение — это прежде всего разлука и одновременно потеря родины, увод в плен с общей родной земли.

Пространство находится в общем владении. Поэтому поражение — это потеря пространства, связанная с разлукой, а победа — обретение пространства, связанное с единением. Отсюда ясно, что призыв автора «Слова» к единению князей особенно выразительно для своего времени сочетается с призывом к походу на половцев, к победе над ними.

Но вернемся к представлениям о быстроте передвижения в географическом пространстве.

Быстрота передвижения — это символ власти над пространством, в котором князь передвигается. Быстрота похода — символ овладения пространством.

Могущество Романа Галицкого описывается в летописи прежде всего в образах движения: «...устремил бо ся бяше на поганя яко и лев, сердит же бысть яко и рысь, и губяше яко и коркодил, и прехожаше землю их яко и орел, храбор бо бе яко и тур» (Ипат. лет., под 1201 г...).

Тот же динамичный монументализм очень характерен и для «Слова о полку Игореве». Действующие лица переносятся в нем с большой быстротой: постоянно в походе Игорь, парадируют в быстрой езде «кмети» — куряне, в быстрых переездах — Олег Гориславич и Всеслав Полоцкий; Всеслав, обернувшись волком, достигает за одну ночь Тмуторокани, слышит в Киеве колокольный звон из Полоцка. И т. д.

Неподвижен великий князь Святослав Киевский, но его «золотое слово» обращено из Киева «на горах», где он сидит, ко всем русским князьям. Двигается не он, но зато движется все вокруг него. Он господствует над движением русских князей, управляет движением. То же и Ярослав Осмомысл: он высоко сидит в Галиче на своем златокованом столе, но его железные полки подпирают горы угорские, он мечет бремены чрез облаки, рядит суда до самого Дуная, грозы его по землям текут и он отворяет врата Киеву.

В таком же церемониальном положении изображен и Всеволод Суздальский, готовый вычерпать шлемами Дон, расплескать веслами Волгу, полететь к Киеву. Великий князь церемониально неподвижен, но он среди движения, как бы им руководит.

Эти церемониальные положения князей — типичная черта монументально-исторического стиля XI—XIII вв. Образ князя, высоко сидящего на престоле, подчеркивает еще одну дистанцию — дистанцию феодально-иерархическую между ним и остальными князьями.

Поэтизация средствами установления дистанций способна объяснить, почему автор «Слова» так героизирует в сущности слабого киевского князя Святослава. Важно, что он князь киевский, глава всех русских князей. Это возвышает его над всеми остальными князьями, делает его старым, мудрым и сильным. Он предстает перед читателями высоко «на горах» и высоко по своему феодальному положению, в ореоле иерархической дали.

Еще одна дистанция чрезвычайно характерна для стиля монументального историзма: это дистанция во времени, дистанция историческая.

Там, где в искусстве динамизм, там обычно вступает в силу и историческая тема, появляется обостренный интерес к истории. Движение в пространстве тесно связано законами стиля с движением во времени.

Огромный интерес к истории пронизывал собой изобразительное искусство и литературу XI—XIII вв. Религиозная живопись была по преимуществу религиозно-исторической. Новозаветные и ветхозаветные события и персонажи, события и персонажи церковной истории — основные сюжеты стенных росписей и икон. В литературе также главные темы распределяются вокруг священной, всемирной и русской истории. О преобладании исторических интересов в литературе свидетельствует и широкое развитие в Древней Руси летописания с таким великолепным произведением во главе, как «Повесть временных лет». Но преобладание истории в стиле монументального историзма не только сюжетное и тематическое. Для того чтобы объект литературы стал в XI—XIII вв. поэтическим, был поэтически возвышенным, для этого нужна была дистанция не только пространственная и иерархическая, но и историческая.

Событие и действующее лицо, представленное в ореоле истории, приобретали особенную внушительность. Это наиболее отчетливо видно во всех случаях изображения в литературе поражений русских. В рассказе о взятии Владимира татарами в 1237 г. в Лаврентьевской летописи мы читаем: «...створися велико зло в Суждальской земли, яко же зло не было ни от крещенья, яко ж бысть

ныне». В описании взятия Киева Рюриком и Ольговичами в той же летописи под 1203 г. говорится сходно: «...и створися велико зло в Русстей земли, якого же зла не было от крещенья над Киевом. Напасти были и взятъя, не яко же ныне зло се сстася». О битве на Калке говорится: «и бысть победа на вси князи рустии, ака же не бывала от начала Русьской земли никогда же» (Сузд. лет. по Акад. сп., под 1223 г.).

Почти в тех же выражениях говорится о битве Игоря и в «Слове»: «То было в ты рати, и въ ты плъкы, а сицей рати не слышано!»

Мы можем довольно четко установить в «Слове» ту «временную дистанцию», которая требуется его автору, чтобы опозитизировать современность: это приблизительно один век или чуть меньше.

Для того чтобы опозитизировать события, современные автору «Слова», он привлекает русскую историю XI в. События XII в. для этой цели не годятся, и они для этого нигде им не упоминаются. В самом деле, свои поэтические сопоставления автор «Слова о полку Игореве» делает с историей Олега Святославича и Всеслава Полоцкого, с битвой Бориса Вячеславича на Нежатиной Ниве, с гибелью в реке Стугне юноши князя Ростислава, с поединком Мстислава Тмутороканского и Редеди. Это все события XI в. Автор «Слова» вспоминает певца Бояна — также XI в. История XII в., предшествующая походу Игоря, как бы отсутствует в «Слове» — эстетически она не нужна.

В «Слове о полку Игореве» остро ощущается воздух русской истории. Конечно, представления об истории были представлениями своего времени, и измерения этого исторического времени были не столько летописными, сколько эпическими. «Слово о полку Игореве» не называет точных дат тех или иных событий, что было обязательным для летописи, зато постоянно говорит о «дедах» и дедовской славе. Такое определение времени также часто встречается в летописях.

Отцы и главным образом деды также очень часто упоминаются в проповедях, поучениях и житиях — особенно тогда, когда автор хотел выразить свое эмоциональное отношение к их потомкам, или тогда, когда он хотел сравнить деяния их потомков с деяниями отцов и дедов. Деды и прадеды — это всегда некоторое мерило добродетелей и славы внуков и правнуков.

Митрополит Иларион в «Слове о Законе и Благодати», восхваляя Ярослава Мудрого, обращается к его предкам — славит его отца, деда и прадедов. Он говорит о его предках, «иже славятся ныне и слывут». Владимир Мономах вспоминает в «Поучении» о том, что было «при умных дедех наших, при добрых и при блаженных отцех наших».

Пример отцов и дедов, обычаи отцов и дедов, их наследие, слава отцов и дедов и, наконец, полуязыческая молитва «дедня и отня» постоянно упоминаются в летописи, особенно в критические моменты судьбы их потомков.

«Слово о полку Игореве» буквально наполнено проявлениями этого культа предков — дедов и прадедов, но через головы отцов. Это и понятно, если принять во внимание характерную для этого времени «эстетику дистанций», требовавшую промежутка времени большего, чем его давало обращение к отцам и их славе.

В «Слове» постоянно говорится о дедах и внуках, о славе дедов и прадедов, об «Ольговом гнезде» (Олег — дед Игоря). Сам автор «Слова» — внук Бояна, ветры — «Стрибожи внуци», русское войско — «силы Дажьбожа внука», Ярослав Черниговский с подвластными ему войсками ковуев звонят в «прадѣдную славу», Изяслав Василькович притрепал славу деду своему Всеславу Полоцкому: внуки последнего призываются понизить свои стяги — признать себя побежденными в междоусобных бранях и т. д. и т. п.

Не случайно поэтому и сами русские называются в «Слове» русичами, что вызывало иногда недоумение исследователей. Однако форма эта — русичи — характерна для племенных названий, подчеркивающая происхождение от легендарного предка; радимичи — потомки легендарного Радима, вятичи — потомки легендарного Вятки. В названии же русичи подчеркивается просто, что они «одного деда внуки», а дедом их назван Дажьбог. И в этом проявляется временная эстетизация, столь типичная для «Слова».

Стиль монументального историзма, властно подчинивший себе не только изобразительное искусство, зодчество и литературу в XI—XIII вв., но и все вообще эстетические представления, игравшие серьезную роль в феодальном быте, не ограничивался, само собой разумеется,

только принципом эстетизации дистанций — пространственных, временных (исторических) и иерархических.

Историчность монументального стиля соединяется в нем со стремлением утвердить вечность. Вечность не противоречит движению. Это не неподвижность. Библейские события историчны и вечны одновременно. Христианские праздники существуют в данный момент священной истории и одновременно существуют в вечности. История и вечность составляют в средневековье некое диалектическое единство. В отношении эстетическом это единство осуществляется через церемониальность. Средневековая церемониальность и этикетность — это попытка эстетически утвердить вечное значение происходящего и заявить о значительности события.

Поэтому одной из существеннейших сторон монументально-исторического стиля была именно церемониальность, я бы даже сказал — демонстративная церемониальность, хотя церемониальность всегда в той или иной мере рассчитана на демонстрацию и поэтому демонстративна по своей сути.

Церемониальность находилась в прямом соответствии с монументальностью литературы. Она требовала репрезентативности, торжественности, крупных форм, рассчитанных на коллективного зрителя и слушателя. Она требовала не столько изображения действительности, сколько ее оформления, подчинения жизненных явлений торжественным и идеализированным формам.

Литература XI—XIII вв. была церемониальная по формам своего применения, по художественным средствам, к которым она прибегала, по темам, которые она для себя избирала.

В чисто эстетическом плане главный жанр литературы этого периода — ораторский. Ораторское выступление было в этот период частью церемониала — церковного и светского. Частью церковного церемониала были жития святых и сочинения гимнографические. Летописи не предназначались для церемониала, но они в известной мере были церемониальным освещением событий, отбором событий для увековечения их, который также представлял собой известный церемониал. В народном творчестве церемониальное значение имели славы и плачи. Одни предназначались для встреч князей, для их прославления при вокняжении, другие — для похорон и воспоминаний.

Литература и фольклор, таким образом, входили в церемониалы и вместе с тем церемониально оформляли изображаемое.

Не случайно в «Слове» так часто используются такие церемониальные формы народного творчества, как слава и плач. Боян поет славу старому Ярославу и храброму Мстиславу, он свивает славы «оба полы сего времени» и исполняет славу «княземъ» на своем струнном музыкальном инструменте.

Выше уже говорилось, что в «Слове» иноземцы (немцы, венецианцы, греки и моравы) поют славу великому Святославу, говорится о плаче русских жен, о пении славы девицами на Дунае.

Описан или упомянут в «Слове» целый ряд церемониальных положений: обращение Игоря к войску, звон славы в Киеве: «Звенить слава въ Киевѣ... стоять стязи в Путивлѣ». Как на параде, с оружием наизготовку проносятся в «Слове» «свѣдоми кѣмети» — куряне. Игорь вступает в золотое стремя — момент также церемониальный. После первой победы Игорю подносят трофеи — черлениый стяг, белую хоругвь, черленую чолку, серебряное стружие. В церемониальном положении изображен «на борони» Яр Тур Всеволод. О пленении Игоря сообщено как о церемониальном пересаживании из золотого княжеского седла в седло кощеево. В церемониальных положениях изображены в «Слове» Всеволод Суздальский, Ярослав Осмомысл на своем златокованом столе высоко в Галиче, а также окруженный на горах киевских боярами, подающими ему советы, Святослав Киевский.

Своеобразно церемониальное положение Всеслава Полоцкого — он добывает себе Киев — «девицу любу», скакнув на коне и дотронувшись стружием до золотого киевского стола, что напоминает сватовство к невесте в русской сказке (Иванушка скачет на коне и успевает снять кольцо с руки у царевны, сидящей высоко в тереме).

Церемониален плач Ярославны. Она плачет открыто, при всех, на самом высоком месте своего Путивля — на городских забралах, откуда открывается простор Посеймья.

Наконец, завершается «Слово» торжественной церемонией въезда Игоря в Киев и пением ему славы в разных концах Русской земли.

При определении жанра «Слова» следует учитывать

его церемониальность. Древняя русская литература, особенно в этот период, в XI—XIII вв., не знала произведений, предназначенных только для одиночного читателя. Она всегда была рассчитана на обряд, на чтение в тот или иной момент богослужения, бытового случая,— на чтение вслух, для всех или многих. Несомненно, что и «Слово» должно было для чего-то предназначаться: не исключена возможность, что это было ораторское произведение, предназначенное для какого-то светского церемониала, как это думал И. П. Еремин, но вероятнее, как об этом мы уже говорили, это были плач и слава, также имевшие точное обрядовое назначение. Приводимые И. П. Ереминым признаки ораторского жанра в «Слове»² распространены во многих произведениях этого периода и не принадлежащих к ораторскому жанру. Ораторские приемы встречаются в летописях и житиях, в хождениях и исторических повестях (особенно в повестях о княжеских преступлениях), так как литературные произведения очень часто были участниками торжеств и обрядов, требовали громкого произнесения.

Монументальность и церемониальность всегда связаны с традиционностью. Церемониальность традиционна по самой своей сути. Чем дальше в глубь времени уходят обряд или церемония, тем они торжественнее. Поэтому церемониальные одежды всегда старинные, а церемониальные формы держатся десятилетиями и веками.

Монументальность, особенно монументальность историческая, должна быть поэтому традиционна. Все три особенности (монументальность, историчность, традиционность) поддерживают друг друга.

К сожалению, у нас очень мало данных, чтобы судить о том, насколько традиционны многие формы в том жанре, в котором было создано «Слово о полку Игореве». Однако эти данные все же отчасти есть.

С одной стороны, мы встречаемся с образами, метафорами, оборотами «Слова о полку Игореве» в русской, украинской и белорусской народной поэзии нового времени, а это само по себе свидетельствует о том, что все они были не только в народной поэзии, но и в самом «Слове» глубоко традиционными.

С другой стороны, поэтические образы в «Слове» тесно связаны с образами, лежащими в основе политической (феодалной) и военной терминологии его времени, и это опять-таки говорит об их традиционности. Образы

не придумывались, не изобретались автором «Слова» — они брались из жизни или стали традиционными в литературе, но также, в свою очередь, восходили к феодальной и военной терминологии. <...>

Монументализм XI—XII вв. имеет целый ряд и других признаков и свойств. Так, например, монументализму свойственна особая лаконичность, краткость. В произведениях монументального стиля обычно мало орнаментики — монументальность требует выразительности при немногословии. Это касается, например, характеристик людей и населения той или иной местности. В летописи такая лаконичность и «геральдичность» в характеристиках постоянна. Владимирцы говорят о ростовцах: «то суть наши холопы каменъници» (Лавр. лет., под 1175 г.). Об ольговичах и половцах говорится в летописи, что они «скори бяху на кровопролитье» (Ипат. лет., под 1151 г.), «перяяславци же дерзи суще» (Лавр. лет., под 1169 г.), «смоляне дерзи к боеви» (Сузд. лет. по Акад. сп., под 1216 г.) и т. д.

То же самое видим мы и в «Слове». Вспомните «свѣдомых кметей» — курян, Ольгово храброе гнездо, храбрые полки Игоря, железные полки Ярослава Осмомысла и пр.

Особую роль в церемониальном, монументальном стиле литературы играли афоризмы, приписываемые обычно каким-то древним мудрецам или просто вкладываемые в чьи-то уста: «Яко инде глаголетъ: «Скырт река злу игру сыгра гражаном», тако и Днестр злу игру сыгра Угром» (Ипат. лет., под 1229 г.), «Выйде Филя, древле прегордый, надеяся объяти землю, потребити море, со многими Угры, рекшю ему: «един камень много горньцев избиваетъ», а другое слово ему рекшю прегордо: „острый мечю, борзый коню — многая Руси“» (Ипат. лет., под 1217 г.), «О, лестъ зла есть! якоже Омир пишетъ, да обличена же зла есть, кто в ней ходитъ, конецъ зол приметъ; о злее зла зло есть» (Ипат. лет., под 1234 г.), «якоже премудрый хронограф списа: „якоже добродейня в веки светяться“» (Ипат. лет., под 1257 г.). Ср. в «Слове»: «рекоста бо братъ брату: „Се мое, а то мое же“», «Рекъ Боянь... „Тяжко ти головы кромъ плечю, зло ти тѣлу кроме головы“», «Тому вѣщей Боянь и прѣвое припѣвку, смысловый, рече: „Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда божиа не минути“».

Одна из сторон церемониальности — истовая нетороп-

ливость и своеобразная полнота в перечислении всего того, что участвует в церемонии. Эта полнота преследует цели не столько информационные, сколько украшающие и напоминающие присутствующим о том, что входит в церемонию.

Церемония — это некий процесс, некое длительное, разворачивающееся в пространстве и во времени действие, действие, которое может быть заранее известно не только распорядителю церемоний, но и присутствующим. Особенно важны поэтому в церемонии последовательность в демонстрации неких равных и соподчиненных членов. <...>

В летописи описывается татарское нашествие. Татары пришли на Рязань, требуя у рязанских князей «десятины во всем: в князех, и в людех, и в конех — десятое в белых, десятое в вороных, десятое в бурых, десятое в рыжих, десятое в пегих» (Сузд. лет. по Акад. сп., под 1237 г.).

То же самое и в «Слове». «Чрълень стяг, бѣла хорюговь, чрълена чолка, сребрено стружие — храброму Святъславличю». Или: «диѣ... велить послушати — земли незнаемѣ, Влъзѣ, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню», «Орьтьмами, и япончицами, и кожухы начаша мосты мостити», «съ черниговскими былями, съ могуты, и съ татраны, и съ шельбиры, и съ топчакы, и съ ревугы, и съ ольберы».

Разные формы перечислений в «Слове» нуждаются в специальном изучении, особенно в связи с проблемой ритмики «Слова». С точки же зрения стилистического требования полноты, столь характерного для монументально-исторического стиля, стоит сопоставить эти перечисления со стремлением в «золотом слове» Святослава обратиться ко всем русским князьям поименно. Если практически достаточно было бы просто призвать всех русских князей, как единое сообщество, не перечисляя каждого, выступить в объединенный поход против половцев, то чтобы придать обращениям церемониальность, необходима была именно их «полнота»: обращение к каждому из князей лично. Князь киевский Святослав обращается к князьям, соблюдая феодальный этикет.

Весьма важно отметить, что перечисления в «Слове» падают на те объекты, которые требуют именно церемониальности; дань, добыча, народы и племена («черниговские были»: «съ могуты, и съ татраны, и съ шельби-

ры, и съ топчаки, и съ ревугы, и съ ольберы»), покоренные страны («Хинова, Литва, Ятвязи, Деремела»), народы, поющие славу Святославу («ту нѣмцы и венеци, ту греци и морава»). <...>

«Слово» откликается не только на эстетические представления в литературе и искусстве. Оно как бы включено в раму тех эстетических норм, которые существовали в самой жизни, в феодальном быте времени.

Новейшая поэзия не имеет особо выделенной категории явлений, которые представляли бы собою как бы особый резервуар эстетических ценностей. В принципе современный поэт может эстетически сублимировать любое жизненное явление. В современной нам литературе почти отсутствует деление явлений самих по себе на эстетические и антиэстетические. Эстетическим или антиэстетическим может быть только *подход* к явлениям жизни. Это закономерное следствие расширения сферы поэзии и уступки в ней первого места нюансам, обертонам, ассоциациям, позволившим вскрыть эстетические ценности в любом явлении и в любом понятии.

В средневековой литературе, напротив, первенствующее место занимает явление в своей основной сущности, его основная функция, его всесторонность и как бы всеобщность.

Поэтому в средние века выделены определенные категории жизненных явлений, которые признаются эстетически ценными и откуда по преимуществу черпается поэтическая образность.

Это одно из проявлений того монументализма, который сохраняет свое значение и в последующее время, после XIII в., хотя и подвергается постоянной эрозии, совершенно сменившей почву поэзии в новое время.

Иерархическое устройство общества отразилось в установленной в нем иерархии эстетических ценностей. В литературе эстетически ценно прежде всего все то, что связано с высшим светским слоем феодального общества. Именно светским, а не церковным. Это может показаться странным, но этому есть свои основания: внешнее и далеко не последовательное отрицание «земной» красоты черным духовенством. <...>

К этому мы еще вернемся. Сейчас же обратим внимание вот на что. Два княжеских дела считались в этот период наиважнейшими: война и охота. Именно о своих «путях» (то есть походах) и «ловах» (то есть охотах)

рассказывает, как мы видели, в своем «Поучении» Владимир Мономах. Те же два княжеских дела как наиважнейшие подчеркиваются и в летописи.

Красиво оружие воина, красиво все, что связано с боевым конем, красива княжеская охота — особенно соколиная. И даже тогда, когда нужно подчеркнуть величие дела церковного подвижника, он сравнивается с воином, его дело объявляется воинским делом и сам он — «воин Христов».

«Красота воину оружие и кораблю ветрила», — говорится в «Слове некоего калугера о чь[тении] [к]ниг», включенном в «Изборник» 1076 года (л. 2 об.). В том же Изборнике с оружием сравнивается молитва («велико оружие молитва», л. 229), с оружием же сравнивается человеческое тело: «оружье бо наше есть тело, а душа — храбъръ» («храбъръ» — богатырь, л. 240).

Образ воина, подобно Всеволоду Буй Туру «стоящего на борони», — это также по-своему эстетически канонизированное представление о красоте. И опять-таки оно находит себе подтверждение в том же Изборнике: «любить князь воина стояштя и борющагося с врагы» (л. 216).

Все вышеприведенные цитаты взяты из статей сугубо церковного содержания, но эстетическим идеалом для каждого из монахов остается все же светский идеал воина, именно образ воина стоит впереди церковного подвижника.

О красоте оружия воинов неоднократно пишет и летопись, редко отвлекающаяся от строго деловитого изложения и аскетически обнаженная от всякой образности: «блистахуса щити и оружници подобни солнцю» (Ипат. лет., под 1231 г.), «велику же полку бывшую его (Даниила Галицкого. — Д. Л.), устроен бо бе храбрыми людьми и светлым оружьем» (там же). Красоту оружия отмечает обычно и «Хронограф»: «якоже въставше слнце на злата щиты и на оружиа, блистахуса горы от них».

Феодосий Печерский говорит в своем «Поучении о терпении и милостыни»: «...воину Христову лепо ли есть ленитися? Да или то они за тщую славу и изгибающую не помнять ни жены, ни детей, ни имениа. Да что мню имение, еже есть хуже всего, но и главы своя ни в что же помнять, дабы им не посрамленным быти».

О способности воина забыть о своих ранах в бою пишет и летопись. Даниил Галицкий в битве на Калке «младенства ради и буести, не чюаше раны бывши на

телеси его» (Сузд. лет. по Акад. сп., под 1223 г.). Князя Мстислав Мстиславич и «Володимер» Рюрикович, «укрепляя» своих новгородцев и смолян, говорили им: «забудем, брате, домов, жен и дети» (там же, под 1216 г.). Радость, заставляющая воина забыть в пылу битвы или после нее о своих ранах, неоднократно описывается в летописи и в других случаях. Ипатьевская летопись рассказывает о Романе Брянском под 1264 г., что когда он отдавал «милую свою дочь, именовь Олгу, за Володимера князя, сына Василькова», он на радостях забыл о своих ранах: «И в то веремя рать приде Литовьская на Романа; он же бися с ними и победи я, сам же ранен бысть и немало бо показа мужьство свое, и приеха во Брянескъ с победою и честью великою, и не мя ранен на телеси своемь за радость».

Поразительно близок идеалу воинской увлеченности сражением образ Всеволода Буй Тура. В пылу битвы он забывает свои раны и своих близких: «Кая раны дорога, братие, забывь чти и живота, и града Чрънигова отня злата стола, и своя милыя хоти, красныя Гльбовны, свычая и обычая?» <...>

Обращу еще внимание на одну сторону военных образов «Слова». Битва, как известно, сравнивается в «Слове» с жатвой, и этот образ обычно сопоставляется с аналогичными образами народной поэзии.

Однако образ этот существует и в книжности. Враги избивают людей, «аки на ниве класы пожинаху» (Сузд. лет. по Акад. сп., под 1216 г.), или о татарах: «а все людие секуще, аки траву» (там же, под 1238 г.).

Не случаен в летописи и противостоящий войне образ мирных пахарей, ратаев. Война — это прежде всего гибель пахарей. В речи Владимира Мономаха на Любечском съезде, обращенной к князьям с призывом защитить Русскую землю от набегов половцев, читаем: «и половчин приехав ударить ѝ (смерда) стрелою, а кобылу его поиметь» (Лавр. лет., под 1103 г.).

Переходим теперь ко второму слою эстетических ценностей — охоте, и при этом соколиной по преимуществу. Владимир Мономах начинает свою биографию со слов: «А се вы поведаю, дети моя, труд свой, оже ся есмь тружал, пути дея и ловы с 13 лет» (Лавр. лет., под 1096 г.). Княжеский «труд» для Мономаха, как мы уже указывали, это «пути» и «ловы». Как одну из главных добродетелей князя называет охоту и Ипатьевская летопись.

В ней под 1287 г. прославляется как охотник Владимир Василькович Волынский: «Бяшетъ бо и сам ловечь добр, хоробор, николи же ко вепреви и ни к медведеве не ждаше слуг своих, а быша ему помогли, скоро сам убиваше всяки зверь; тем же и прослул бяшетъ во всей земле, понеже дал бяшетъ ему Бог вазнь (удачу.— *Д. Л.*) не токмо и на одиных ловех, но и во всемь, за его добро и правду». Впоследствии, уже в XVII в., царь Алексей Михайлович составляет чин соколиной охоты и пишет в нём: «И зело потеха сия полевая утешает сердца печальныя, и забавляет веселием радостным, и веселит охотников сия птичья добыча. Безмерна славна и хвальна кречатья добыча. Удивительна же и утешительна и челига (самец кречета.— *Д. Л.*) кречатья добыча. Угодительна же и потешна дермлиговая переласка (особого рода перелет птицы дремлика.— *Д. Л.*) и добыча. Красносмотрительно же и радостно високова сокола лет». Составленный Алексеем Михайловичем «Урядник Сокольникыего пути» — это не только уложение об охоте — это поэтический гимн красоте соколиной охоты.

Вот почему в Древней Руси даже в сухое летописное изложение вторгается сравнение стрельцов с соколами: «приехавшим же соколомь стрелцемь, и не стерпевъшим же людемь, избиша ё и роздрашася» (Ипат. лет., под 1231 г.).

Восемь раз в «Слове» употребляется образ сокола по отношению к князьям и воинам, однако образами охоты «Слово» буквально пронизано. Природа в «Слове» — это по преимуществу та природа, которая увидена глазами охотника.

Стиль монументального историзма XI—XIII вв. далеко не исследован. Предстоит еще многое сделать для выявления его особенностей. Эти особенности лежат не только в эстетических принципах. Существуют, по-видимому, и некоторые этические принципы, общие для произведений этого времени и тесно связанные с принципами эстетическими. Существует некоторое характерное для этого периода отношение между фольклором и литературой. Есть и известная эстетическая сосредоточенность на определенных темах, мотивах. Внимание людей этого времени выделяло в окружающем их мире однородный ряд фактов, как эстетически ценный.

В целом многие традиции, обычаи, привычки слива-

лись с эстетическими принципами, становились характерными для этого периода признаками стиля, пронизывавшего не только все искусства, включая литературу, но и весь жизненный уклад XI—XIII вв. Перед нами не столько стиль, сколько «эстетическая формация» (термин А. Флакера).

Обращаясь к «Слову о полку Игореве», отметим его полную подчиненность принципам этого стиля. Если есть различия между «Словом» и летописью, житиями и другими произведениями этого периода, то различия эти обусловлены только различиями жанра. <...>

Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978, с. 40—74.

¹ Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым (Серия «Литературные памятники»). М.—Л., 1958, с. 9.

² Еремин И. П. Литература древней Руси (Этюды и характеристики). М.—Л., 1966, с. 144—163.